

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

Печатая записку П. Я. Чаадаева, благосклонно сообщенную нам одним из его родственников¹, мы должны сделать несколько замечаний о ее характере и образе мыслей человека, получившего такую почтенную известность одним письмом, напечатанным лет 25 тому назад. «Апология», печатаемая нами теперь, содержит в себе объяснение этого письма, помещенного в «Телескопе» за 1836 год². Но сам «Телескоп» составляет ныне библиографическую редкость; между нынешней публикой далеко не всем удавалось прочесть статью Чаадаева, о которой так много слышал каждый. Потому полагаем, что не довольно было бы нам представить только наше мнение о направлении его знаменитого письма и что почти все читатели будут нам благодарны, если мы дадим им возможность ближе познакомиться с письмом, приведя из него отрывки.

Из некролога, помещенного г. Лонгиновым в «Современнике» 1856 года (№ 7. Смесь, стр. 5), мы знаем, что Чаадаев родился в 1793 году. Служа офицером в лейб-гусарском полку, который стоял тогда в Царском Селе, он в 1815 году познакомился с Пушкиным, на которого имел сильное влияние и которому в деле удаления его из Петербурга, в мае 1820 года, оказал важную услугу³. Пушкин до конца жизни оставался его другом. Все другие благородные люди, встречавшиеся с Чаадаевым, уважали его за характер, ум и замечательную образованность. Много лет он прожил за границею, занимаясь между прочим философиею, и по возвращении на родину, в 1826 году, поселился в Москве, где до самой своей смерти (13 апреля 1856 г.) «служил, по выражению Лонгинова, посредником между людьми различных направлений. К нему съезжались, по понеделникам, почти все мыслящие люди. Искусство сближать людей и красноречивая беседа хозяина привлекали туда всякого, кто хотя однажды посетил его».

Человек большого ума и обширных сведений, Чаадаев набрасывал иногда на бумагу мысли, его занимавшие. Но он никогда не хотел быть писателем. Ряд размышлений, из которых первое было напечатано в «Телескопе», вовсе не предназначался для печати; эти размышления были написаны по поводу разговоров Чаадаева с одной из знакомых ему дам и собственно только для нее⁴. Потому, имея форму писем, они касаются личного положения и личных качеств дамы, к которой были адресованы, с такою же подробностью, как и общих научных вопросов. При своем сильном таланте, Чаадаев, конечно, понял бы совершенную излишность этих личных объяснений в своих письмах, если бы когда-нибудь предназначал их для публики; если бы он сам хотел их печатать, он наверное вычеркнул бы из своего первого письма многие страницы, как решительно не интересные для публики. Но письмо попало в журнал чисто случайным образом. Один из друзей Белинского (Станкевич, как мы слышали) прочел письма, данные ему частным образом, заинтересовал ими Белинского, который тогда был главным сотрудником «Телескопа». Письма были на французском языке. Чаадаева стали просить, чтобы он позволил перевести их на русский и поместить перевод в «Телескопе». Он согласился. Нам кажется, что он даже не просматривал печатаемого перевода: мы так судим потому, что есть в переводе выражения, не совсем удачно отгадывающие мысли подлинника; без сомнения, Чаадаев поправил бы ошибки, если бы просматривал перевод. Было напечатано только одно письмо. Мы слышали, что было уже приготовлено к изданию второе, но что книжка «Телескопа», в которой оно было помещено, не вышла в свет по случаю прекращения журнала. Не знаем, верен ли этот рассказ; мы передаем, что слышали, и просим исправить неточности, если они есть в наших словах.

Первое письмо Чаадаева, бывшее причиной прекращения «Телескопа» и удаления из Москвы издателя журнала, произвело, как все рассказывают, потрясающее впечатление на тогдашнюю публику. Оно поразило всех страшным отчаянием, которое, как тогда казалось, господствует в нем. Нынешняя публика, более привыкшая к мыслям широким и неприкрашенным, едва ли почувствует такое впечатление от чтения письма. Мы в каждой книжке каждого журнала читаем ныне вещи столь же горькие, можем находить их основательными или неосновательными, но никому из нас не кажется, чтобы они дышали безнадежностью и внушались отчаянием. Содержа-

ние письма очень просто. Чаадаев говорит, что мы не участвовали в жизни Западной Европы, потому не вошли в нашу жизнь те понятия и обычаи, на которых зиждется нынешняя европейская цивилизация. Нам нужно еще учиться всему тому, что с первых лет детства входит в жизнь западного человека. Учиться трудно и времени на это нужно много, потому людей истинно цивилизованных в нашем обществе еще мало, а господствует в нем беспорядица понятий и обычаев. Даже те немногие, которые сами по себе могут назваться цивилизованными людьми, не ведут той жизни, не имеют тех интересов, не делают тех дел, каких следовало бы ожидать от цивилизованного человека и которые составляют их собственную внутреннюю потребность. В Западной Европе этой разладицы, шаткости и скуки нет, потому что там развитое и установившееся общество поддерживает человека, дает ему средства для жизни, приличной его внутреннему развитию. У нас в обществе вы не находите никакой опоры, а видите только хаос, сбивающий вас с толку, увлекающий вас в пошлость или наводящий на вас уныние. Из этого следует, что нам надобно как можно усерднее стараться об устройении тех великих идей, которые руководят истинно цивилизованными народами и которые до сих пор еще так слабо привились.

Вот сущность мыслей, находящихся в напечатанном письме Чаадаева. Читатель согласится, что теперь в них нет ровно ничего особенно страшного. Если хотите, они и в 1836 году являлись в печати уже не в первый раз. Не говоря о других книгах и журналах, в самом «Телескопе», с самого начала, то есть около шести лет, Надеждин говорил почти то же самое, и более двух лет почти то же самое говорил Белинский. Разница была разве в том, что они высказывали такой взгляд на русскую жизнь в статьях о каких-нибудь частных предметах, а письмо Чаадаева собственно только и занималось изложением дела в его самом общем виде.

Несколько странно представляется после этого, что именно письмо Чаадаева наделало такого шума, хотя не говорило ничего неслыханного для читателей «Телескопа». Конечно, автор был человек даровитый и мысли свои излагал энергическим языком; но Надеждин и Белинский писали не хуже, если не лучше его, — за что же обратилось особенное внимание не на какую-нибудь из их статей, а на письмо Чаадаева? Очень большую роль надобно тут, как и во всех подобных вещах, приписать просто случаю. Скажите, например, за что почтенные дамы и господа на-

зывали ужасно безнравственным произведением «Евгения Онегина» и запрещали своим дочерям читать его, а вовсе не гневались на «Руслана и Людмилу», хотя в этой милой сказке соблазнительные картины гораздо ярче, чем в «Евгении Онегине»? Видно, что на роду написано человеку, книге или статье, то и будет с ними: все равно, заслуживали или не заслуживали они своей судьбы.

Но есть в письме Чаадаева особенность, которая, вероятно, способствовала этой статье возбудить особенный эффект, столь почетный и столь вредный. Человеку, не знающему наших обстоятельств, показалось бы, что эта особенность должна служить ограждением и рекомендацией для его письма во мнении тех, которые остались довольны. Чаадаев был человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия. Каждому известно, что в IX веке западная церковь отделилась от восточной, а мы приняли христианство уже в X веке, то есть по разделении церквей⁵. Известно также, что до начала XVI века вся Западная Европа была связана единством исповеданий. Чаадаев с особенным вниманием занимался этою стороною вопроса о причинах долговременной нашей отдельности от Западной Европы. Он говорил, что Западную Европу составляли страны католические, страны чуждого нам исповедания, и большая половина его письма наполнена восторженными похвалами высокому значению христианства и сожалениями о том, что мы, русские, только называем себя христианами, а теплого христианского чувства в нас мало. Сообразно своему религиозному настроению духа, он говорил, что нам следует быть религиознее, что только благочестие сделает нас и просвещенными, и счастливыми. Но, делая благочестивые размышления главным содержанием своей беседы, Чаадаев принимал на себя звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку; он произвольно присвоивал себе должность, на которую не имел права, и такое самовольство, хотя до некоторой степени извиняемое усердием, конечно, не могло быть допущено в благоустроенном обществе. Проповедником должен быть только тот, кто определен проповедником, а светский человек, не имеющий этого священного сана, не может, при всей своей надобности, говорить о священных предметах требуемым образом. Как бы ни были набожны его мысли, как бы ни были благочестивы его намерения, он неизбежно впадет в ошибки и станет вовлекать других в заблуждение, если дерзнет излагать вероучение. Чаадаев не сообразил этих правил, и их забвение, вероятно, содей-

ствовало произведению результата, который иначе был бы несколько загадочнее.

Мы не имеем ни малейшей охоты присвоивать себе звание, нам не принадлежащее, и потому при изложении письма Чаадаева не будем говорить о страницах, посвященных собственно религиозным размышлениям. Мы обратим внимание только на общественную и историческую стороны этого интересного произведения; — мы ограничиваем наш обзор этою частью его идей тем охотнее, что в ней собственно и заключается сущность взгляда, а религиозность составляет единственно облачение его.

Перевод статьи Чаадаева напечатан под заглавием «Философические письма к г-же * * *. Письмо первое». Начинается оно деликатными похвалами душевным качествам дамы, к которой адресовано, и переходит к объяснению причин, по которым она, при всех своих нравственных достоинствах, чувствует внутреннее недовольство собою и жизнью, — это зависит от состояния нашего общества, разумная жизнь которого еще очень бедна и шатка.

В жизни есть сторона совершенно невещественная, относящаяся собственно к разумной стихии нашего бытия: этой стороною никак не должно пренебрегать. Для души есть диэтическое содержание, точно так же как и для тела; уметь подчинять ее этому содержанию необходимо. Знаю, что повторяю старую поговорку: но в нашем отечестве она имеет все достоинства новости. Это одна из самых жалких странностей нашего общественного образования, что истины, давно известные в других странах и даже у народов, во многих отношениях менее нас образованных, у нас только что открываются. И это оттого что мы никогда не шли вместе с другими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку, не имеем преданий, ни того, ни другого. Мы существуем как бы вне времени, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас. Эта дивная связь человеческих идей в течение веков, эта история человеческого разума, доведшие его в других странах мира до настоящего положения, не имели на нас никакого влияния. То, что у других народов давно вошло в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория.

Вы можете замечать это на самой себе, продолжает Чаадаев: вам нечем наполнить вашу жизнь; да и все наше общество таково же, нет в нем ничего установившегося, выработанного; это происходит от нашей истории.

Для всех народов бывает период сильной, страстной, бессознательной деятельности. Люди блуждают тогда и телом и духом. Это время великих страстей, великих ощущений. Народы движутся в то время сильно, без видимой причины; но не без пользы для будущих поколений. Все общества проходили через этот период. Он даровал им их важнейшие воспоминания, их чудесное, их поэзию, все их высшие и плодотворнейшие идеи. Он необходим для жизни общества. Без него что сохранилось бы

в памяти народов, к чему могли бы они привязаться, пристраститься; без него они дорожили бы только прахом родной земли. Эта чрезвычайно занимательная эпоха в истории народов есть время их юности; время, когда способности их развиваются с наибольшею силою, время, воспоминание о котором, в возрасте возмужалом, служит им наслаждением и уроком. Мы не имеем ничего подобного. В самом начале у нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жесткое, унижительное владычество завоевателей, владычество, следы которого в нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная история нашей юности. Мы совсем не имели возраста этой безмерной деятельности, этой поэтической игры нравственных сил народа. Эпоха нашей общественной жизни, соответствующая этому возрасту, наполняется существованием темным, бесцветным, без силы, без энергии. Нет в памяти чарующих воспоминаний, нет сильных наставительных примеров в народных преданиях. Пробежите взором все века, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминания, которое бы вас остановило, ни одного памятника, который бы высказал нам протекшее живо, сильно, картинно. Мы живем в каком-то равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего. Если ж иногда и принимаем в чем участие, то не от желания, не с целью достигнуть истинного, существенно нужного и приличного нам блага; а по детскому легкомыслию ребенка, который подымается и протягивает руки к гремушке, которую завидит в чужих руках, не понимая ни смысла ее, ни употребления.

Истинное общественное развитие не начиналось еще для народа, если жизнь его не сделалась правильнее, легче, удобнее неопределенной жизни первых годов его существования. Как может процветать общество, которое, даже в отношении к предметам ежедневности, колеблется еще без убеждений, без правил; общество, в котором жизнь еще не составила? Мир нравственный находится здесь в хаотическом брожении, подобном переворотам, которые предшествовали настоящему состоянию планеты. И мы находимся еще в этом положении.

Первые годы нашего существования, проведенные в неподвижном невежестве, не оставили никакого следа на умах наших. Мы не имеем ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль. Разобщенные какою-то странною судьбою от всемирной жизни человечества, мы ничего не извлекли даже из идей, которые сообщаются человечеству преданиями. А на этих-то идеях основывается частная жизнь народов; из них развивается их будущность, их нравственное образование. Чтоб сравниться с прочими образованными народами, нам необходимо переначать для себя снова все воспитание человеческого рода. Для этого перед нами история народов и плоды движения веков. Конечно, велик этот труд, и может быть одно поколение людей не в состоянии совершить его; но прежде всего необходимо узнать: в чем дело, что это за воспитание человеческого рода и какое место занимаем мы в общем порядке мира?

Народы живут только мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое соотношение с целым человечеством. «Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о предшествовавшем не соединяет настоящего с прошедшим?» Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Каждый из нас должен сам связывать разорванную нить семейности, которой мы соединялись с целым человечеством. Нам должно молотами вбивать в голову то, что у других сделалось привычкою, инстинктом. Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает для нас безвозвратно. Все это есть следствие

образования совершенно привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, самобытного, совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что последние не истекают из первых, а западают к нам бог знает откуда; наши умы не браздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, которое составляет их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы растем, но не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели. Мы подобны детям, которых не заставляли рассуждать; возмужав, они не имеют ничего собственного; все их знания во внешности их существования; во внешности вся душа их.

Народы существа нравственные, точно так же как и люди. Они образуются веками, как люди годами. Но мы, почти можно сказать, народ исключительный. Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?

Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск односемейности. Несмотря на разделение их на ветви латинскую и тевтоническую, на южную и северную, между ними есть связь общая, которая соединяет их, связь видимая для всякого, что углубляется в их общую историю. Давно ли вся Европа называлась «христианством» и это название имело место в ее публичном праве? Но кроме этого общего характера, каждый из них имеет еще свой особенный, придаваемый ему историей и преданиями. И то и другое составляет родовое наследие идей этих народов. Каждое частное лицо пользуется плодами этого наследия; без утомления, без труда, собирает на жизненном пути сведения, рассеянные в обществе, и употребляет их в свою пользу. Теперь сравните сами: много ли соберете вы у нас начальных идей, которые каким бы то ни было образом, могли бы руководствовать нас в жизни? Заметьте, что здесь дело не об учении, не о литературе или науке; но просто о соприкосновении умов, об тех идеях, которые овладевают ребенком еще в колыбели, которые окружают его в играх, которые мать вдыхает в него своими ласками, которые в виде различных чувствований проникают в его существо вместе с воздухом, которым он дышит, и образуют его нравственное бытие еще до вступления в мир и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Они развиваются из происшествий, содействовавших образованию общества; они необходимые начала мира общественного. Вот что составляет атмосферу Запада; это более чем история, более чем психология: это физиология европейца. Чем вы замените все это?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного что-нибудь совершенно безусловное и основать на нем неперменное правило; но очевидно, какое сильное влияние на дух каждого отдельного лица должно иметь это странное положение народа, по которому он не может остановить своей мысли ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе постепенно одна из другой, по которому он принимал участие в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям. От этого вы найдете, что всем нам недостает некоторого рода основательности, методы, логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность. Лучшие идеи от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств притти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во

всех странах; но у нас эта черта общая. Это не та легкомысленность, которую некогда упрекали французов, которая, не отрицая глубины, ни многообъемности ума, зависела только от способности понимать все с чрезвычайною легкостью, что придавало обращению более прелести и любезности: нет! это ветренность жизни без опыта и предвидения; жизни, которая ограничивается эфемерным существованием неделимого, оторванного от своей породы; жизни, которая не заботится ни о славе, ни о распространении каких-либо общих идей или выгод, ни даже о тех семейных, наследственных интересах, о том множестве притязаний и надежд, освященных давностью, которые в обществе, основанном на памяти прошедшего и на понятии будущего, составляют жизнь общественную и жизнь частную. В наших головах решительно нет ничего общего; все в них частно и к тому еще неверно, неполно. Даже в нашем взгляде я нахожу что-то чрезвычайно неопределенное, холодное, несколько сходное с физиономиею народов, стоящих на низших ступенях общественной лестницы. Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц.

Чужестранцы ставили нам в достоинство некоторого рода беспечную отважность, которую встречали особенно в низших классах. Но по нескольким отдельным проявлениям народного характера они не могли верно судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, которое иногда придает нам эту смелость, делает нас в то же время неспособными ни к глубокомыслию, ни к постоянству; они не видят, что это равнодушие к материальным опасностям делает нас также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что тем самым уничтожает в нас все сильные возбуждения, которые стремят людей по пути совершенствования; они не видят, что, по милости этой-то беспечной отваги, у нас и в высших классах, к прискорбию, существуют пороки, которые в других странах принадлежат только низшим; не замечают, что, имея некоторые из добродетелей народов юных, еще необразованных, мы лишены всех достоинств народов зрелых, наслаждающихся высшим просвещением. Я совсем не хочу сказать, что у нас только пороки, а добродетели у европейцев; избави боже! Но я говорю, что для верного суждения о народах надобно изучить общий дух, их животворящий; ибо не та или другая черта их характерна, а только этот дух может довести их до совершеннейшего нравственного состояния, до развития бесконечного.

Массы находятся под влиянием особенного рода сил, развивающихся в избранных членах общества. Массы сами не думают; посреди их есть мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разумение нации и заставляют ее двигаться вперед. Между тем как небольшое число мыслит, остальное чувствует, и общее движение проявляется. Это истинно в отношении всех народов, исключая некоторые поколения, у которых человеческого осталось только одно лицо. Первоначальные народы Европы, кельты, скандинавы, германцы имели друидов, скальдов, бардов; это были сильные мыслители, разумеется, в своем роде. Посмотрите на народы Северной Америки, истреблением которых так ревностно занимается материальное просвещение Соединенных Штатов: между ними есть люди дивного глубокомыслия. Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители! Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее время?

По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединять в себе два великие начала разума: воображение и рассудок; должны бы совмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт

веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума, и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло посреди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдуманно другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь.

Странное дело! Даже в мире наук, который обнимает все, наша история разобщена от всего, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если б орды варваров, возмущивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не доставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтоб обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера. Некогда великий царь хотел нас образовать и, чтоб заохотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации; мы подняли мантию, но не коснулись просвещения. В другой раз другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проводя победителями с одного края Европы на другой; мы прошли просвещеннейшие страны света и что же принесли домой? Одни дурные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще на полстолетие. Не знаю, в крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию. Повторю еще: мы жили, мы живем, как великий урок для отдаленных потомств, которые воспользуются им непременно, но в настоящем времени, что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разума. Для меня нет ничего удивительнее этой пустоты и разобщенности нашего существования. Конечно, в этом виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но не правы и люди, которых содействие во всем, что совершается в нравственном мире, неизбежно. Заглянем еще раз в историю; она объясняет бытие народов лучше всего.

Что делали мы в то время, как из жестокой борьбы варварства северных народов с высокою мыслию религии возникало величественное здание нового образования? Ведомые злою судьбою, мы заимствовали первые семена нравственного и умственного просвещения у растленной презираемой всеми народами Византии. Мелкая суетность только что оторвала ее от всемирного братства; и мы приняли от нее идею, искаженную человеческою страстию. В это время животворящее начало единства одушевляло всю Европу. Все истекло там из этого начала; все сосредоточивалось; всякое умственное движение слилось объединить человеческую мысль; всякое побуждение проявлялось могучею потребностью отыскать одну всемирную идею; это самое и составляет дух новейших времен. Чуждые этому дивному началу, мы сделали добычею завоевателей. Свергнув его чужеземное, мы могли бы воспользоваться идеями, которые развились между тем у наших западных братьев, но мы были оторваны от общего семейства.

Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, покрывавший всю Европу! Большая часть познаний, которыми ум человеческий теперь гордится, мы уже предчувствуем тогдашними умами; характер новейшего общества был уже определен; миру христианскому недоставало только форм прекрасного, и он отыскал их, обратив взоры на древности язычества. Уединившись в своих пустынях, мы не видали ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям, которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышают их над древ-

ними народами, так же как эти последние возвышаются над готтентотами и лапландцами. В нас не развились эти новые силы, которыми она обогатила человеческое разумение, эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, не для нас совершались новые судьбы человечества; не для нас, христиан, зрели плоды христианства.

Далее автор развивает мысль о благотворных плодах христианства и продолжает:

Но вы вообразите: разве мы не христиане, разве образование возможно только по образцу европейскому? Без сомнения, мы христиане; но разве абиссинцы не христиане же? Разумеется, можно образоваться отлично от Европы; разве японцы не образованы и, если верить одному из наших соотечественников, даже более нас? Но неужели вы думаете, что христианство абиссинцев и образованность японцев могут воссоздать тот порядок, о котором я говорил сию минуту, порядок, который составляет конечное предназначение человечества? Неужели вы думаете, что эти жалкие отклонения от божественных и человеческих истин низведут небо на землю?

Мы выписали почти половину статьи. Ее окончание посвящено почти исключительно развитию размышлений благочестивого направления, вытекающих из страниц, представленных нами читателю. Имени автора под статью не выставлено; зато любопытно обозначение местности, в которой она написана:

Некрополис,
1829, декабря 1.

«Некрополис» — «город мертвых»: автор живет как бы среди мертвых людей. В находящемся у нас экземпляре на белой нижней половине последней страницы сделаны карандашом замечания о Чаадаеве, показывающие знакомство человека, их делавшего, с московскими отношениями Чаадаева; этот неизвестный нам комментатор приписал цифру 4 после 1, означающее число месяца, — он хотел показать, что в рукописи автора было выставлено 14. Если действительно так, это как бы посвящение статьи памяти об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион»⁶.

Читателю известно, что напечатание перевода письма Чаадаева имело своим последствием составление акта о сумасшествии автора. Записка, которую теперь мы печатаем, имеет заглавие *Apologie d'un fou* — «Апология сумасшедшего», выставленное на нашей. Записка эта на французском языке, подобно самому письму, результаты

которого были причиною ее составления. Мы печатаем ее в переводе, который был доставлен нам вместе с подлинником; мы исправили язык перевода, очень верного и близкого к подлиннику. «Апология сумасшедшего» по нашему списку произведение не законченное: Чаадаев, как видно, вздумал было написать ряд записок в свое оправдание и вполне написал первую из них, которая представляется, как увидит читатель, цельным и законченным сочинением. Но в доставленном к нам списке над этою запискою поставлена под общим заглавием *Apolo-
logie d'un fou* цифра 1, а по ее окончании следует цифра 2 и потом несколько строк, составляющих всего один период, которым должна была начинаться вторая записка или глава. Вот перевод этих строк:

«Есть факт, верховно владычествующий над нашим развитием в ряду веков, проходящий через всю нашу историю, совмещающий в себе, так сказать, всю ее философию, проявляющийся во все эпохи нашей общественной жизни и определяющий характер их, служащих существенным элементом нашего политического величия и с тем вместе причиною нашего умственного бессилия; этот факт — географическое положение».

Оставляя эти строки, будем говорить о первой записке или главе. Заглавие показывает цель, с которою она составлена: Чаадаев хочет оправдать свое письмо, за которое признан был сумасшедшим. Для кого именно составлена записка, в ней самой нет прямых указаний; видно только, что Чаадаев обращается к целому кружку или классу людей из числа лиц, негодовавших на его напечатанное письмо; видно также, что от мнения этих лиц более или менее зависела его судьба. На доставленном к нам списке выставлен 1836 год — тот самый, когда постиг его случай, бывший причиною составления записки. Время и цель составления записки отразились на некоторых местах ее; мы выпускаем из нашего перевода эти места, которые не могут считаться достоверным выражением мнений автора, имея внешнее назначение: просим читателя верить, что мы не поступили неуважительно к автору или легкомысленно, когда выпустили из перевода эти места, которые могут быть разъяснены в должном свете только в биографии Чаадаева. Свойство комментариев, которыми сопровождаем мы печатаемую нами записку, может достаточно свидетельствовать, что мы не могли руководиться никакими соображениями, кроме того уважения, какого достойно имя Чаадаева. Мы обозначаем точками места пропусков.

После общего заглавия *Apologie d'un fou* следует общий эпиграф, взятый из Кольриджа:

O my brethern! I have told most bitter truth, but without bitterness («О, братья мои! Горчайшую истину сказал я, но без горечи»)⁷

За этим следует цифра 1, и начинается самая записка. Первые строки ее имеют вид христианских размышлений о терпении; переходя к людям, негодующим на него, автор говорит, что гнев их происходил из оскорбленной их любви к отечеству: но, замечает он,

характер любви к отечеству бывает различен, — самоед, например, который любит родные снега, сделавшие его близоруким, задымленную юрту, в которой он скорчась лежит половину своих дней, протухлое сало своих оленей, заражающее зловонием его атмосферу, наверное, конечно, любит свое отечество иначе, нежели гражданин Англии, гордящийся учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова, и было бы дурно, если бы мы, например, все еще любили нашу родину по самоедскому способу.

Любовь к отечеству — прекрасное дело, но есть еще гораздо лучшее — любовь к истине. Любовь к отечеству создает героев, любовь к истине создает мудрых людей, благодетелей человечества. Любовь к отечеству разделяет народы, порождает национальную вражду, часто покрывает землю трауром; любовь к истине распространяет просвещение, создает умственные наслаждения, приближает людей к божеству. Но мы, русские, всегда мало заботились о том, что истинно, что ложно... Хладнокровно, без всякого раздражения, хочу отдать себе отчет в моем странном положении. Скажите, не должен ли я в самом деле постараться разъяснить, в каком отношении находится к своим ближним, к своим согражданам, к своему богу человек, объявленный сумасшедшим?..

Вот уже триста лет Россия стремится к слиянию с Западом Европы, берет от него свои серьезнейшие идеи, свои плодотворнейшие знания, свои самые живейшие наслаждения. Вот уже более века она не ограничивается этим. Величайший из наших государей, который, как говорят, начал для нас новую эру, которому, как говорят, мы обязаны нашим величием, нашей славой и всеми благами, которыми ныне владеем, отрекся сто пятьдесят лет тому назад от старой России, перед лицом старого мира. Своим всемогущим дуновением он смел все наши учреждения, вырыл бездну между нашим прошедшим и нашим настоящим и бросил в нее все без разбора наши предания. Сам он поехал в западные страны стать малейшим в них и возвратился величайшим из нас; преклонился перед Западом и восстал нашим владыкою и законодателем. В наш язык он ввел языки Запада; свою новую столицу он назвал западным именем; свой наследственный титул он отверг и принял титул западный: наконец, он почти отказался от своего собственного имени и не раз подписывал свои самодержавные постановления западным именем. С тех пор постоянно смотря на западные страны, мы, так сказать, только вдыхали в себя приносившиеся к нам оттуда дуновения и питались ими. Наши государи наложили на нас нравы, язык, одежду Запада. Называть вещи их именами мы выучились по западным книгам; нашей собственной истории стала учить нас одна из западных стран; мы перевели целиком литературу Запада, затвердили ее наизусть; мы нарядились в его обноски и считали счастьем своим походить на Запад и славою себе, когда он благоволил причислять нас к своим людям.

Надобно сознаться, прекрасно было это создание Петра Великого, эта могущественная мысль, охватившая нас и устремившая нас в тот путь, по которому нам суждено было проходить с таким блеском; глубокомысленно было слово, сказанное нам: «видите вы эту цивилизацию, плод стольких трудов, эти науки, искусства, стоявшие стольких усилий стольким поколениям? — все это будет вашим, если вы отречетесь от ваших суеверий, отвергнете ваши предрассудки, не станете жалеть вашего варварского прошедшего, не станете хвалиться веками вашего невежества, поставите вашему честолюбию одну цель — усвоить себе труды всех народов, богатства, приобретенные человеческим разумом во всех поясах земного шара». И не для одного своего народа трудился этот великий человек. Избранники провидения всегда посылаются для целого человечества. Сначала их называет своими один народ, потом сливаются они с целым человеческим родом, как те великие реки, которые, оплодотворяя обширные страны, несут дань своих вод океану. Зрелище, представленное им вселенной, когда, покидая царское величие и свою страну, он скрылся в последних рядах цивилизованных народов, было новым усилием человеческого гения выйти из узких границ отчизны, чтобы водвориться в великой сфере человечества. Таков был урок, который мы должны были от него принять; мы им, действительно, воспользовались и до сих пор шли по пути, указанному нам великим императором. Наше громадное развитие только исполнение этой величественной программы. Никогда не было народа менее напыщенного собой, чем русский народ, созданный Петром Великим, и никогда никакой народ не приобретал более славных успехов на пути прогресса. Высокий ум этого необыкновенного человека в совершенстве угадал, какова должна была быть наша точка отправления при вступлении на путь цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что мы почти совершенно лишены исторических данных и потому не можем основать нашей будущности на их слабом фундаменте; он понял, что нам, имеющим перед собой вековую цивилизацию Европы, служащую последним выражением всех прежних цивилизаций, не для чего оставаться в душной атмосфере своей истории, не для чего влечься, подобно народам Запада, через хаос народных предрассудков, по узким тропам местных идей, по избитой колее туземного предания: что нам надобно самобытным взмахом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания приобрести судьбу, ожидавшую нас. Потому он освободил нас от связанности предшествовавшими событиями, которые опутывали общества, имевшие историческую жизнь и замедляли их движение; он раскрыл наш ум для всех существующих между людьми великих и прекрасных идей; он дал нам весь Запад, созданный веками, сделал нашу историю всю его историю, нашу будущностью всю его будущность.

Если бы в своем народе нашел он богатую и плодотворную историю, живые предания, глубоко вкоренившиеся учреждения, разве он решился бы передвинуть этот народ в мир для него новый? Если бы он имел дело с народностью сильно обрисованной, резко определившейся, разве инстинкт его творческого духа не направил бы его к тому, чтобы в самой этой народности искать средств для обновления своей родины? И разве сама она допустила бы отнять у ней ее прошедшее, придать ей, так сказать, прошедшее Европы? Но Петр Великий под своею сильною рукою нашел белую бумагу и начертал на ней слова: «Европа» и «Запад»: с той поры мы стали принадлежать Европе и Западу. Да, бесспорно, каков бы ни был гений этого человека и какова бы ни была гигантская энергия его воли, его дело было возможным только в таком народе, у которого [не было] выработанного исторического направления, строго определяющего дальнейший путь его, — в народе, предания которого не имели силы создать ему будущности, воспоминания которого могли быть безнаказанно

изглажены смелым законодателем. Мы были так покорны голосу государя, призывавшего нас к новой жизни, потому, что в нашем прежнем существовании не имели ничего такого, чем бы могли оправдать сопротивление. Самая глубокая черта нашей исторической физиономии — отсутствие самобытности в развитии нашего общества. Всмотритесь, и вы увидите, что каждый важный факт в нашей истории — факт, наложенный на нас, каждая новая идея — почти всегда идея, внесенная к нам. Но в таком воззрении на нас нет ничего щекотливого для национального чувства. Если этот взгляд верен, с ним следует согласиться, и только. Есть великие народы, как есть великие исторические личности, которых нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые, однакоже, созданы таинством верховной логики провидения. Таковы мы, но, повторяю, до национальной чести это вовсе не касается.

История народа не только ряд фактов, следующих друг за другом, но и ряд идей, вытекающих одна из другой. Факт должен выражаться идеею — идея, принцип должны проходить через события и стремиться к осуществлению. Тогда факт не пропадет: он озарил умы, он остался запечатленным в сердцах, и никакая власть в мире не может изгнать его из них. Эту историю создает не историк, а сила вещей. Историк, являясь, находит ее уже готовою и рассказывает ее; но появившись или нет, она все равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы темн и ничтожен он ни был, носит ее в глубине своего существа. Вот этой-то истории у нас нет. Надобно нам приучиться обходиться без нее, а не побивать камнями людей, которые первые заметили это.

Наши фанатические славянофилы, в своих роскопках, могут от времени до времени выкапывать любопытные предметы для наших музеев, для наших библиотек, но, кажется, позволительно сомневаться, чтобы они когда-нибудь успели извлечь из нашей исторической почвы, чем бы наполнить пустоту наших душ, остановить шаткость наших умов. Посмотрите на Европу средних веков: нет события, которое не было бы, так сказать, абсолютно необходимым, которое не оставило бы глубоких следов в сердце человечества. Отчего ж это? Оттого, что в основе каждого события вы находите идею; потому, что история средних веков — история мысли новых времен, стремящаяся воплотиться в искусство, в науку, в жизнь человека, в общество. Зато сколько следов эта история отпечатлела в умах, как она распахала почву, на которой действует дух человека! Я знаю, что не всякая история имеет такой строго логический ход, как история этой изумительной эпохи, в которой выработалось христианское общество под владычеством верховного принципа; но таков истинный характер развития отдельных народов или целой семьи народов, и нации, лишенные такого прошедшего, должны, принимая свою судьбу, искать не в своей истории, не в своей памяти, а в других источниках элементов своего дальнейшего прогресса. О жизни народов можно сказать то же, что о жизни индивидуумов. Все люди жили, но только человек гениальный или человек, поставленный в известные особенные условия, имеет настоящую историю. Если, например, народ по стечению обстоятельств, не им созданных, вследствие географического положения, не им избранного, расселится по стране громадного размера, не сознавая сам что делает, и если вдруг он увидит себя могущественным народом, это, конечно, будет удивительным феноменом, и удивиться ему можно сколько угодно, но что же может сказать о нем история? В сущности это просто факт чисто материальный, факт, так сказать, географический, факт бесспорно огромных пропорций, — но и только. История его примет, занесет в свои летописи, потом закроет их для него, и все будет кончено. Истинная история этого народа начнется только с того дня, когда он проникнется верной ему идеей, той идеей, к осуществлению которой он призван, и когда он станет осуществлять ее с тем скрытым, но упорным инстинк-

том, который приводит народы к исполнению их судеб. Вот минута, которую я призываю для моей родины всеми силами моего сердца, вот труд, за которым я хотел бы видеть вас, мои любезные друзья и сограждане, живущие в век высокого просвещения и так хорошо доказавшие мне, как жарко пламенеете вы святою любовью к отечеству.

Мир всегда был разделен на две части, на Восток и Запад. Это не только географическое деление, это также порядок вещей, вытекающий из самой природы разумного существа; это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие всю экономию человеческого рода. Человеческий дух организовался на Востоке, сосредоточиваясь, самоуглубляясь и замыкаясь в себе; расширяясь на внешний мир во всех направлениях, борясь со всеми препятствиями, развился он на Западе. Общество естественно сформировалось по этим коренным данным. На Востоке мысль, ушедшая в самое себя, ищущая безопасности в бездействии, скрывшаяся в пустыне, оставила гражданскую власть обладательницей всех земных благ; на Западе мысль, раскидываясь повсюду, обнимая все пужды человека, стремится ко всем благам, основала власть на принципе права. Но в той и другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; в той и другой человеческий ум был обилён высокими вдохновениями, глубокими мыслями, возвышенными созданиями. Первым явился Восток и пролил на землю потоки света из лоно своего одинокого мышления; потом явился Запад с своей неутомимою деятельностью, своим живым словом, своим всемогущим анализом овладел его трудами, закончил начатое Востоком и охватил его, наконец, своими широкими объятиями. Но на Востоке умы покорны: коленопреклоняясь перед авторитетом времен, истощились соблюдением безусловной покорности чтимому принципу и, наконец, заснули, скованные своим неподвижным синтезом, не подозревая новых судеб, которые для них готовились; а на Западе между тем они продолжали идти, гордые и свободные, преклоняясь только перед авторитетами разума и неба, останавливаясь только перед неизвестным и вечно устремляя взоры на безграничную будущность. Они и теперь продолжают идти, как вы знаете, и вы знаете также, что с Петра Великого и мы думали, что идём вместе с ними.

Но вот является новая школа. Ей не нужен Запад, она хочет разрушить дело Петра Великого, хочет повернуть назад, в пустыню. Забывая, чем обязаны мы Западу, неблагодарная к великому человеку, нас цивилизовавшему, к Европе, нас образовавшей, она отрывается и от Европы, и от великого человека; и в своей торопливой пылкости этот новорожденный патриотизм уже провозглашает нас любимыми сынами Востока. «Что за надобность, говорит он, была нам ходить за просвещением к западным народам? Разве посреди самих нас не было зачатков общественного порядка, бесконечно лучшего, чем европейский? Почему не выжидали действия времени? Предоставленные самим себе, нашему светлому разуму, плодотворному началу, скрывающемуся в недрах нашей мощной природы и особенно в нашей святой религии, мы скоро опередили бы все эти народы, преданные заблуждению и лжи. Да и чему же нам было завидовать на Западе? Его религиозным борьбам, его папе, его рыцарству, его инквизиции? Да, прекрасные вещи! Разве Запад отчизна науки и всех глубоких идей? Известно, что их родина на Востоке. Удалимся же на этот Восток, к которому мы во всем близки, от которого мы заняли наши верования, наши законы, наши добродетели, — все, что нас сделало могущественнейшим народом земли. Старый Восток умирает. Разве не мы его естественные наследники? У нас увековечатся его дивные предания, осуществляются все великие и таинственные истины, хранение которых ему было искони вверено». Теперь вы понимаете, откуда собралась гроза, меня поразившая, и вы видите, что среди нас совершается в национальной мысли истинная революция, страстная реакция против просвещения,

против идей Запада, против этого просвещения, этих идей, которые сделали нас тем, что мы есть теперь, плод которых даже эта реакция, это движение, влекущее нас теперь против них. Но на этот раз движение идет не сверху. Говорят, напротив, что никогда в высших сферах общества память нашего царственного преобразователя не была столь чтима, как теперь. Итак, вся инициатива принадлежит самой нации. Куда нас приведет это первое проявление эманципированного разума нации, бог знает, но нельзя, серьезно любя свое отечество, не быть болезненно пораженному этим отступничеством наших передовых умов от идей, создавших нашу славу, наше величие; и мне кажется обязанностью доброго гражданина разъяснить по своему крайнему разумению этот странный феномен.

Мы находимся на Востоке Европы — это бесспорно; но все-таки мы никогда не составляли части Востока. У Востока есть своя история, не имеющая ничего общего с историей нашей страны. Он заключает в себе, как мы видели, плодотворную идею, которая в свое время произвела великое развитие ума, которая исполнила свое назначение с дивным могуществом, но которой уже не суждено снова являться на сцене мира. Эта идея ставит духовное начало на вершине общества; она покорила все власти одному закону — верховному, ненарушимому закону времен; она глубоко постигла нравственную иерархию; и хотя стеснила жизнь слишком тесными пределами, но зато сохранила ее от всякого внешнего влияния и запечатлела чудной глубиной. Ничего подобного нет у нас. Духовный принцип, всегда подчиненный у нас светскому принципу, никогда не стоял во главе общества; закон времен, предание никогда не имело у нас исключительного владычества; жизнь никогда не была у нас построена неизменяемым образом; наконец, нравственной иерархии мы никогда не знали. Мы просто народ северной страны; по нашим идеям мы так же далеки, как и по климату от ароматной долины Кашмира и священных берегов Ганга. Правда, некоторые из наших провинций соседи с восточными государствами, но наши центры не там, наша жизнь не там и никогда там не будет, пока планетный переворот не изменит земную ось или новый потоп не занесет южных организмов во льды полюса.

Дело в том, что мы никогда еще не рассматривали нашей истории с философской точки зрения. Ни одно из великих событий нашего народного существования не было охарактеризовано с точностью, ни одна из наших великих эпох не была добросовестно оценена: отсюда все странные фантазии, все утопии прошедшего, все сновидения невозможной будущности, мучающие ныне наших патриотов. Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев: потом Карамзин звучным слогом рассказал подвиги и деяния наших государей; в наше время посредственные писатели, неловкие антиквари, неудавшиеся поэты, не обладая ни наукой немцев, ни талантом знаменитого историка, претендуют изобразить или реставрировать времена и нравы, воспоминания о которых и любви к которым никто между нами не сохранил: таков перечень наших трудов по национальной истории. Надобно признаться, что из всего этого невозможно извлечь серьезного предсказания об ожидающих нас судьбах. А в этом теперь и заключается вся важность, именно эти результаты и составляют ныне весь интерес исторических исследований. Серьезная мысль нашего времени требует строгого обсуждения, искреннего анализа моментов, в которых жизнь известного народа обнаруживалась с большей или меньшей глубиной, в которых его общественный принцип проявлялся во всей его истине: потому что тут будущность этого народа, тут элементы его возможного прогресса. Если такие эпохи редки в вашей истории, если жизнь у вас не была могущественна и глубока, если закон, господствующий над вашими судьбами, далек от того, чтобы быть лучезарным принципом, возросшим в ярком свете народной славы, — если этот закон нечто бледное и тусклое, укрывающе-

еся от солнечного блеска в подземных сферах вашего общественного существования, то не отвергайте же истины, не воображайте, что вы жили жизнью исторических народов. в то время когда, схороненные в вашей громадной могиле, вы жили только жизнью ископаемых. Но если, быть может, проходя по этому ничтожеству, вы дойдете до минуты, когда нация в самом деле почувствовала в себе жизнь, когда ее сердце в самом деле забилося и когда вы услышите шум народной волны, поднимающейся вокруг вас, о! тогда остановитесь, размышляйте, изучайте, ваши труды не пропадут, вы узнаете, что будет в силах сделать ваша родина в великие дни, чего она должна надеяться в будущем... Вы видите, я далек от мысли требовать, как говорят, совершенного отвержения всех наших воспоминаний.

Я сказал только, и теперь повторяю, что пора бросить ясный взгляд на наше прошедшее, и не для того, чтобы выкапывать из него старую, гнилую ветошь, старые идеи, пожранные временем, старые антипатии, давно отринутые здоровым смыслом наших государей и нации, а для того, чтобы знать, что нам, наконец, думать о наследии нашего прошедшего. Это-то я пытался сделать в труде, который остался недоконченным и к которому должна была служить введеннием статья, столь странно возмущившая национальное тщеславие. Правда, в языке этой статьи была горячность, в мыслях излишняя резкость, но пафос, господствующий в ней, вовсе не похож на неприязнь к отечеству: это глубокое чувство наших немощей, высказанное с болью, с печалью, и только.

Больше, нежели кто-нибудь из нас, верьте мне, люблю я свое отечество, горжусь его славою, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патристическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось, что ныне нашей родине мы прежде всего обязаны истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня его любить. Я не имею, признаюсь, того патристического квиетизма, того ленивого патриотизма, который так улаживается, чтобы все видеть в розовом цвете, который засыпает на своих иллюзиях и которым, по несчастию, заражены теперь многие из наших лучших умов. Я думаю, что если мы явились после других, то затем, чтобы действовать лучше других, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения, в их суеверия. По моему мнению, было бы странным пониманием выпавшей нам роли, если бы мы стали неловко повторять весь длинный ряд безумий, совершенных народами, стоявшими в положении менее выгодном, стали проходить все бедствия, ими выстраданные. Я полагаю, что наше положение — положение счастливое, если только мы будем уметь его оценить: что велико и прекрасно наше преимущество — возможность рассматривать и обсуживать мир со всей высоты мысли, отрешенной от бешеных страстей, от жалких интересов, которые в других странах затмевают взгляд человека и извращают его суждение. Скажу больше: я имею задушевное убеждение, что мы призваны к решению большей части задач общественного порядка, к завершению большей части идей, возникших в старых обществах, к произнесению приговора по важнейшим из вопросов, которые занимают человечество. Я часто говорил и люблю повторять: «по самой сущности дела мы назначены, можно сказать, настоящими присяжными для многих процессов, ведущихся перед великими судилищами человеческого ума и человеческого общества».

Посмотрите в самом деле, что происходит в странах, которые, может быть, слишком превозносил я, но которые все-таки представляют самое

полное развитие всех сторон цивилизации. Когда возникает там новая идея, слишком часто в то же самое мгновение бросаются на нее — узкий эгоизм, ребяческое тщеславие, упорство партий, все нечистые страсти общества овладевают ею, искажают, извращают ее, и через минуту, изуродованная этими разнородными элементами, она уносится в те отвеченные области, которыми поглощается всякая бесплодная умственная пыль. У нас нет этих страстных интересов, этих готовых мнений, этих установившихся предрассудков: каждую новую мысль мы принимаем девственными умами. В наших учреждениях, импровизированных созданиях наших государей или слабых остатках порядка вещей, перепаканного их всемогущей сохой, в наших нравах, странном смещении неловкого подражания с клочками давно истощившегося общественного быта, в наших мнениях, все еще не установившихся даже в самых неважных вопросах, ничто не мешает немедленному осуществлению всех благ, предназначаемых человечеству провидением. Не знаю, может быть, лучше было бы нам пройти все испытания, перенесенные другими христианскими народами, подобно им почерпая в испытаниях новые силы, новую энергию, новые методы; и, быть может, изолированное положение предохранило бы нас от бедствий, сопровождавших долгое и трудное воспитание этих народов; но теперь уже не об этом идет вопрос, можно заботиться только о том, чтобы верно понять настоящий характер нации, как он создан самою природою вещей и наивыгоднейшим образом воспользоваться его качествами. История уже не наша, это правда, но нам принадлежит наука: не можем мы переназначать все работы человеческого разума, но мы можем участвовать в его дальнейших трудах: прошедшее не в нашей власти, но будущность наша.

Часть мира подавлена своими преданиями, своими воспоминаниями — это факт несомненный; не станем завидовать тому ограниченному кругу, в котором она вращается. В сердце большей части наций есть глубокое, господствующее над настоящей жизнью, чувство прошедшей жизни, упорное, наполняющее проживаемые дни воспоминанием прожитых дней; оставим эти народы бороться с их неумолимыми прошедшим. Мы никогда не жили под роковым гнетом логики времен: никогда всемогущая сила не увлекала нас в бездны, изрываемые веками перед народами. Станем пользоваться огромной своею выгодой — возможностью повиноваться только голосу просвещенного разума, обдуманной воли. Будем знать, что для нас не существует безвозвратной необходимости; что мы, слава богу, не поставлены на крутом склоне, по которому столь многие другие нации увлекаются к их неизвестным судьбам; что нам дано измерять каждый шаг, который делаем, обсуждать каждую мысль, прикасающуюся к нашему уму, что нам можно надеяться успехов гораздо обширнейших, чем все успехи, ожидаемые самими пламенными ревнителями прогресса.

Спрашиваю теперь: ничтожна ли будущность, предоставляемая мною моей родине? Как вы думаете, бесславна ли судьба, мною для нее призываемая? А между тем эта великая ожидающая ее будущность, эта прекрасная судьба, ей предназначенная, без сомнения, будет только результатом той особенной натуры русского народа, которая в первый раз была выказана в моей несчастной статье. Правда, было преувеличение в моем обвинительном акте, я спешу это сказать и радуюсь тому, что должен сделать это признание, — было преувеличение в моем обвинительном акте против великого народа, вся вина которого в сущности ограничивалась тем, что он жил за пределами всех цивилизаций, далеко от стран, где естественным образом должно было сосредоточиваться просвещение, далеко от центров, из которых оно проливалось в течение столетий веков; да, было преувеличение — в том, когда я не говорил, что мы явились в свет на почве не разработанной, не оплодотворенной предшествующими

поколениями, в стране, где ничто не говорило нам об истекших временах, где не было никаких следов исчезнувшего мира. Наконец было, быть может, преувеличение в том, чтобы хотя на одну минуту печалиться о судьбе народа, из недр которого рождались могущественная натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Но все-таки надобно сказать, что фантазии нашей публики удивительны.

Всем известно, что вскоре после появления моей несчастной статьи новая драма была играна на нашей сцене⁸. Никогда общество не было бичевано так жестоко, никогда оно не было так втоптано в грязь, никогда не были брошены так прямо в лицо публики ее смрадные нечистоты, но никогда и успех не был более полон. Неужели это значит, что ум серьезный, глубоко размышлявший об своем отечестве, об истории, об характере его народов осуждается на молчание за то, что не может гнетущее его патриотическое чувство передать публике через уста актера? Отчего же мы так охотно выслушиваем цинический урок комедии и так обжигаемся серьезным словом, проникающим в сущность предметов? Сознаемся же, это происходит от того, что мы имеем еще только патриотические инстинкты, что мы еще очень далеки от обдуманного патриотизма старых народов, созревших в умственной работе, просвещенных знанием, соображениями науки; что мы любим свое отечество еще только так, как любят его младенчествующие народы, еще не мучимые мыслью, еще не нашедшие своей идеи, еще не понявшие той роли, которую призваны играть на всемирной сцене; что наши умственные силы почти еще не развились размышлением о серьезных вещах; словом, что умственного труда у нас до сих пор почти не было. Мы с изумительной быстротою поднялись на известную степень цивилизации, справедливо возбуждающую удивление Европы; наше могущество страшит мир, наша империя обнимает пятую часть земного шара. Но всем этим, надобно признаться, мы обязаны, так сказать, только энергической воле наших государей, которой помогали физические условия страны, нами населяемой. Направляемые, формируемые, созданные нашими государями и нашим климатом, только покорностью сделались мы великим народом. Просмотрите наши летописи с начала до конца: на каждой странице вы найдете сильное действие власти, постоянное влияние местности и почти ни в чем не найдете действия и влияния общественной воли.

Краткий очерк нашей истории с такой точки зрения покажет нам этот закон во всей его очевидности.

Конечно, здесь не место рассматривать вопросы, представляющиеся Чаадаеву в его апологии, и доказывать правильность или неправильность решения, какое он дает им. Это потребовало бы не нескольких страниц, которыми мы располагаем, а нескольких длинных статей; притом не развивать перед читателем наши собственные взгляды на вопросы, занимающие Чаадаева, обязаны мы здесь, а только объяснить характер и основания его взглядов.

Прежде всего мы должны вспомнить о состоянии русской истории в 20-х годах, потому что идеи Чаадаева во многом зависят от того вида, в котором представляется история русской нации. Разработка ее только что начиналась или, вернее сказать, даже и не начиналась в эпоху, когда слагался образ мыслей Чаадаева. Человек умный, он видел совершенную нескладницу и пустоту во всем том, что

рассказывали ему о русской истории Карамзин и другие писатели риторического направления, которых одних мы имели; кроме того, были компиляторы, усердно пересказывавшие все без разбора факты в том самом виде, как рассказаны они летописями. Летописи наши совершенно бессвязны, чужды всякого соображения. Всякий вздор занесен в них с такой же любовью, как события важные⁹. Факты перебиты, перемешаны в рассказе. Читая летописи, вы часто не разберете даже, кто победил, кто прогнан в битве: «сразишася Володимерцы и Ноугородцы и побегоша»; кто же побегал? Владимирцы или новгородцы? Или не разбежались ли уж и те, и другие? Разрешить эту загадку вы сумеете разве по тому, что через две страницы, прочитав бездну отрывочных известий о киевских, черниговских и всяких других событиях, рассказанных так же вразумительно, — о смерти разных князей и епископов, о рождении разных князей, об освящении новых церквей, о солнечных затмениях, о погоде и т. д., — вы найдете, наконец, фразу, сказанную тоже неизвестно зачем и неизвестно к чему: «бе мор в Новеграде, непускаху бо в Новъград хлеба». Не угодно ли вам догадаться, что из этого следует, что владимирский князь занял дороги, по которым новгородцы получали хлеб с юга, что, значит, успех в войне был на его стороне, и что, следовательно, «побегоша» новгородцы, если сражение, о котором вы читали, принадлежит к той же войне, о которой тут и не упомянуто, и если после него не было других сражений, в чем вы не можете быть уверены. В таких источниках вы не найдете, разумеется, философской идеи, а те писатели, которые не ограничивались компилированием, подымали все на такие ходули, что дело выходило еще бестолковее. По Карамзину, злодей Борис Годунов и злодей Святополк Окаянный говорят одинаковым языком, имеют одинаковые понятия и управляют обществом совершенно одинаково — тем самым обществом, в котором жили Кир, Аристид, Ромул, Тит, Людовик XI и Густав Адольф: это всё люди одной эпохи, одних понятий, и общественные учреждения при них при всех были одинаковы. О римской, о французской истории можно было узнать что-нибудь из умных книг, потому и в истории греков или французов был виден какой-нибудь смысл. Но о русской истории, кроме гили, ничего нельзя было прочесть во времена молодости Чаадаева. Разумеется, умному человеку должно было показаться, что во всех событиях и переменах жизни русского народа нет ни связи, ни смысла. Мы вовсе не говорим, чтобы такое впечатление соответствовало истине. Теперь русская ис-

тория несколько разработана, хотя еще очень плохо, но все-таки хоть несколько разработана, и мы видим, что в ее развитии была связь, был некоторый смысл, — хороший или дурной, это все равно, но был смысл. Наши учреждения развивались; быть может, развивались очень дурно, под очень вредными влияниями, но все-таки было у нас движение, а не совершенный застой. Чаадаев образовался, когда не было еще ни истории Полевого, ни даже памфлетов скептической школы¹⁰, удивительно ли, что он смотрел на русскую историю, как не должны смотреть мы. Если он говорил: «В нашей истории нет смысла, а история называется историею только тогда, когда имеет смысл, а потому у нас нет истории», — если он говорил это, он только доказывал своими словами, что он человек большого ума, которого нельзя обольстить вздорною реторикою, и что по своим понятиям он гораздо выше людей, бывших тогда нашими учителями истории.

Отвергая историю, он должен был отвергать и то, что характер наш уже получил известные определенные черты от исторических событий. Ему казалось, что Петр Великий нашел свою страну листом белой бумаги, на котором можно написать что угодно. К сожалению, — нет. Были уже написаны на этом листе слова, и в уме самого Петра Великого были написаны те же слова, и он только еще раз повторил их на исписанном листе более крупным шрифтом. Эти слова не «Запад» и не «Европа», как думал Чаадаев; звуки их совершенно не таковы: европейские языки не имеют таких звуков. Куда французу или англичанину и вообще какому-то ни было немцу¹¹ произнести наши *Щ* и *Ы*! Это звуки восточных народов, живущих среди широких степей и необозримых тундр. Петр Великий застал нас с таким характером, какой недавно имели персияне. Ведь и у персиян была своя история; и у них события совершались не бессвязно и проходили не без следов. Мы сказали, что длинное развитие наших мыслей было бы здесь неуместно. Дело только в том, что пока русская история до Петра оставалась предметом бессмысленных компиляций или нестерпимых декламаций, не было понятно и значение реформы Петра Великого. Он жил уже не во времена наивных летописцев и мог сделаться только предметом риторических упражнений. Пока не разработали источников, — а это было уже после молодости Чаадаева, — не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных

фраз. Ломоносов взял панегирик Плиния Траяну и при переводе его на русский язык поставил вместо имен «Траян» и «Рим» «Петр» и «Россия»¹². Такие понятия оставались до последних лет. Петру приписывались все те качества и стремления, которые в каком бы то ни было панегирике приписывались какому бы то ни было знаменитому правителю. От Тита мы взяли милосердие, от Брута — неумолимое правосудие, от Людовика XIV — великолепие, от Цинцинната — простоту, от Аристиды — правдолюбие, от Ришелье — дипломатическое искусство и, когда соединили все это, провозгласили: «вот Петр Великий!» Чаадаев был так умен, что не верил этой нескладнице; но все же он был человек своей эпохи, и следы ее остались на нем. Он мог отвергнуть панегиризм, но приходил в энтузиазм от имени Петра Великого. Он принял из книг своей молодости и понятие, что задушевную целью Петра было превращение России в европейскую страну, понимая под европейскую страну землю, где властвует высокая европейская цивилизация. Теперь думают, что придавать Петру Великому такое намерение — значит представлять его слабодушным мечтателем, непрактичным идеалистом, — недостатки, которых не было в его характере; думают, что цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную часть, как ведут ее немцы, если мы останемся по военной части в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, неважным, а главное дело составляли военные учреждения. Когда некоторые из его подданных стали роптать и противиться, он, как человек пылкий и настойчивый, не уступил оппозиции, а только разгорячился от нее и стал делать все наперекор людям, его раздражавшим: они любили бороды — отнять у них бороды,

они любили держать жен взаперти — выпустить жен; если бы они любили брить бороды, он заставил бы их отпускать бороды. Прежняя администрация была ему враждебна, — он ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских, во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых, — и не на эту сторону обращалось внимание, — нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя. Ломка старины производилась просто по ее враждебности, а не по какому-нибудь другому соображению, шла война с нею, и только всего; а самая война вытекала просто из непонятливости противников Петра, вообразивших его вообще любителем Запада, между тем как ему были нужны собственно только военные учреждения Запада. Но, разумеется, когда эта ошибка противников вызвала Петра Великого на внутреннюю войну, он действительно стал поступать будто приверженец Запада, ломая старинные учреждения и заменяя их западными.

Могут сказать: но ведь все равно, если целью Петра было и просто создание сильной военной державы, а не перенесение европейской цивилизации в Россию, — все равно, результат был тот же самый: перенесение к нам западной цивилизации. Нет, не все равно. и результат был не тот. Целью дела определяется дух его, а результат зависит от духа, в каком ведется дело. При видимом сходстве действий результаты их различны, если цели их различны. Кто учит своих воспитанников, например, юриспруденции с тою мыслью, чтобы из них вышли практические дельцы, люди, способные сделать служебную карьеру, у того образуются не такие люди не такие юристы, как у человека, обучающего своих воспитанников юриспруденции с тою мыслью, чтобы они умели понимать и защищать справедливость. Результатом деятельности Петра Великого было то, что мы, получив хорошее регулярное войско, стали сильною военною державою, а не то, чтобы мы изменились в каком-нибудь другом отношении.

Петра Великого иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, изменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними атрибутами и продолжали отправляться по прежнему способу. Губернатор был тот же воевода, кол-

легии были теми же приказами. Бороды сбрили, немецкое платье надели, но остались при тех же самых понятиях, какие были при бородах и старинном платье. На ассамблеи ходили, но семейная жизнь со всеми своими обычаями осталась в прежнем виде. Муж не перестал бить жену и женить сына по своему, а не по его выбору. Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его благодаря хорошему войску, созданному Петром.

Само собою разумеется, что мы выражаемся так безусловно только по логической необходимости отвечать на известное мнение таким же тоном, каким оно произносится. Защитники и обыкновенные противники реформы Петра Великого одинаково говорят, что она изменила всю нашу жизнь, и развивают свои мнения с эмфазом¹³, придающим всеобъемлющее значение слову «всю». Когда голос возвышается до такого крика, возражая на него, надобно также громко крикнуть «нет»; если произнести это слово спокойным, тихим голосом, оно не будет услышано. Но, разумеется, когда затихнет шум, поднимаемый и защитниками, и обыкновенными противниками реформы об ее будто бы чрезвычайно сильном влиянии на общественную жизнь и нравы наши, когда можно будет рассуждать об этом деле чисто ученым, не полемическим тоном, надобно будет сказать, что некоторое изменение в жизни и правах общества было произведено реформой, хотя изменение до того слабое, что много заниматься им и нет надобности. Если механика говорит, что песчинка, упавшая в Атлантический океан с испанского берега, производит волну на американском берегу, то разумеется, не могло [не] произвести некоторого изменения в других сферах жизни нововведение столь важное, как устройство сильного и хорошего регулярного войска по западному образцу. Совершенная переделка такого громадного факта, как военная часть, повлекла за собою множество переделок во всем; мы хотим только сказать, что все эти переделки в других сферах, кроме военной, ограничивались переменою имен, а не характера вещей. Разумеется, и простая перемена имен уже имеет некоторое влияние на характер вещи. Попробуйте переименовать губернатора префектом, его должность и образ действий несколько переменятся. Надобно только помнить, что чем меньшую важностью мы будем приписывать перемене, произошедшей при Петре

в нашей общественной жизни, тем ближе мы будем к истине. Весь дух вещей остался прежний, насколько может оставаться вещь в прежнем виде, когда изменяется только имя ее без всякого намерения изменить сущность.

У самого Петра Великого все важные для общественной жизни понятия и все принципы действия были совершенно русские понятия и принципы времен Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. От своих противников он отличался не характером идей, а только тем, что он понимал надобность, а они не понимали надобности устроить войско по немецкому образцу. Они думали, что хорошо прежнее войско, — он находил, что оно дурно. Но для чего нужно войско, как должно быть устроено государство, какими способами должно быть управляемо, каковы должны быть отношения власти к нации, — обо всем этом он думал точно так же, как и его противники. Он был истинно русским человеком, не изменившим ни одному из важных в общественной жизни понятий и привычек, господствовавших у нас во время его детства и юношества. Чтобы убедиться в этом, надобно только обратить внимание на то, как он действует. Способ его действованиа чисто национальный, без малейшей примеси западного характера. По особенным обстоятельствам нашей истории в XVII веке сущность русского характера в общественной жизни определялась двояким отношением власти к форме. Во-первых, власть стояла выше всяких форм, и не было форм, которые могли бы стеснять ее действие. Людовик XIV мог мечтать, что одна его воля управляет Францією, — она действительно была сильна, но были формы, без которых она не могла обходиться и которые часто мешали ей: существовали парламенты, существовали провинциальные сословные собрания. У нас таких препятствий не было. Но зато вся деятельность была обращена на форму, сущность дела была неуловима для контроля со стороны власти. Обе эти черты остались при Петре Великом во всей силе: первую заботливо хранил он подобно своим предшественникам, вторая хранилась при ней сама собою, как в XVII веке.

Очень может быть, что этот взгляд на дело изложен нами теперь не с полною удовлетворительностью. Но мы полагаем, что чем внимательнее займется читатель проверкою его, тем больше будет он находить подтверждений ему.

На реформе Петра Великого мы так долго останавливались потому, что ее характеру совершенно соответствовал характер всей последующей государственной де-

тельности. Все наши императоры и императрицы продолжали дело Петра, в этом никто не сомневается. Взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы до последнего времени.

Все это мы говорили к тому, чтобы понять возникновение суждения Чаадаева о нашем нынешнем характере и положении. Если принимать, что до Петра Великого мы не имели истории, не сформировался наш характер; если принимать также, что целью деятельности Петра Великого было вложить в нас западную цивилизацию, что такова же была цель его продолжателей, то натурально будет представляться чем-то диким, нелепым наше нынешнее положение. Мы готовы были сделаться чем угодно, потому что еще ничем не были; нас полтора столетия учили сделаться европейцами, и все-таки мы до сих пор очень плохие европейцы, — это действительно очень странно. Если посланки справедливы, то вывод из них, представляемый средою, в которой мы живем, очень неутешителен: он противоречит ожиданию, какое возбуждается посланками. Неужели мы в самом деле так уродливо созданы, что логика событий для нас не существует, что действие, на нас производимое, не может из нас сделать того, чем сделало бы людей, имеющих нормальную человеческую организацию? Если так, поневоле впадешь в отчаяние, поневоле скажешь: наша нация — очень дрянная нация. Это и сказал Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаменитости.

Но дело в том, что посланки, на которых он основывался, несправедливы. У нас была история, был резко и твердо выработавшийся характер в начале XVIII века, а в следующее время сделать нас европейцами никто не хотел, — что ж тут нелепого или удивительного, если мы до сих пор плохие европейцы? Переучиваться, переформировываться гораздо труднее, нежели просто учиться и формироваться; сильнейшее влияние было направлено к тому, чтобы мы не переформировывались и не переучивались, — вот мы и остались в сущности такими же, как были в начале XVIII века. Дело очень понятное. Те немногие из нас, которые по случайным обстоятельствам стали цивилизованными людьми (чего не бывает на свете? Ведь Ломоносову удалось же из мужика стать ученым, хотя мужицкие обстоятельства вовсе не благоприятствуют превращению мужиков в ученых людей), могут находить наше общество не соответствующим их идеалу, но только и всего. Право, если правильно смотреть на нашу историю и наши обсто-

ательства, скажешь: очень и очень большая заслуга с нашей стороны, что мы сделались хотя такими, каковы мы теперь. У меня есть один добрый знакомый, который до 20 лет не знал грамоты: теперь ему 21 год; в этот последний он встречал [препятствия] своему образованию, но все-таки он уже почти без ошибок пишет и несколько познакомился с нашей литературой, читал Гоголя, имеет порядочное понятие об истории; чего же вам больше? Я полагаю, что можно быть довольну такими успехами и что через несколько времени он будет действительно образованным человеком.

Но одна крайность вызывает другую: именно из недовольства нашим нынешним развитием, из отчаяния, навязанного характером нашего общества, рождаются мечты о каком-то исключительном нашем положении и призвании в будущем. Читая напечатанное в «Телескопе» письмо Чаадаева, надобно было предполагать, что он разделяет эти экзальтированные надежды: если бы он не был проникнут ими, не говорил бы он так горько о нашем настоящем. Но в напечатанном письме он не успел изложить этой стороны своего взгляда. Она составляет новую и, быть может, интереснейшую часть записки, которую мы теперь печатаем. Чаадаев полагает, что мы призваны вести человечество к новым судьбам, что у нас больше сил, чем у других народов, что силы эти свежее, что мы скорее и легче других народов поймем и осуществим те новые блага, которые еще [не] вошли в жизнь Запада, которых он без нашей помощи не может уразуметь и достичь. Словом сказать, что если мы были и еще некоторое, очень недолгое, время, всего, быть может, несколько лет, останемся учениками Запада, то очень скоро, быть может, даже еще в наше поколение, мы станем его учителями и руководителями. Эта мечта распространена у нас чрезвычайно. Не только славянофилы, над которыми подсмеиваются западники за нее, считают ее положительною истиною, — если присмотреться хорошенько к самим западникам, то окажется, что подобное чувство лежит в основе даже их убеждений. Нам кажется, что взаимная вражда западников и славянофилов значительно усиливается этою существенно одинаковою верою тех и других: известно, что близкие между собою партии всего ожесточеннее враждуют между собою. По крайней мере, мы до сих пор не встречали ни одного западника, который бы не оказывался в сущности славянофилом, если признаком славянофильства считать утопию о предназначении нашем быть руководителями человечества в дальнейшем прогрессе¹⁴. Быть может, мы сами

обольщаемся, быть может, и мы заражены тщеславными национальными мечтами, но, по крайней мере, нам кажется, что мы чужды их. Попробуем изложить свое понятие о доводах, которыми они прикрываются.

Мнение, будто бы именно мы должны стать руководителями человечества при развитии высших фазисов цивилизации, основывается на двух предположениях, проповедуемых в большей части книг, не только у нас, но и на Западе, но тем не менее совершенно фальшивых. Во-первых, предполагается, что народы латинского и немецкого племени уже ввели в историческое дело все силы, которыми располагают, так что у них нет новых сил для создания новой жизни, совершенно непохожей на прежнюю. Во-вторых, предполагается, что мы народ совершенно свежий, характер которого еще не сложился, а только теперь в первый раз слагается, силы которого ни на что не были расходованы.

Мы уже говорили, что это неправда. Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться. Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола¹⁵. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами: первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий.

А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям.

Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно приготовлен, довольно просвещен. Когда мы будем так же просвещенны, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историею, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они. Просвещаться народу — дело долгое и трудное. Положим, легче пользоваться готовым, чем самому приготавливать, но все-таки и по готовым книгам не скоро поймешь и узнаешь все так хорошо, как знают люди, трудившиеся над составлением этих книг. Когда у нас пропорция между грамотными и безграмотными людьми будет такова же, как в Германии, в Англии, Франции, когда у нас будет, пропорционально числу населения, выходить столько же книг, журналов и газет и будут они так же много читаться, только тогда мы будем иметь право сказать о своей нации, что она достигла такого же просвещения, как теперь эти страны. Время это настанет, но не завтра и не послезавтра. Тогда — ну, тогда другое дело: опытность и цивилизация Запада действительно будет получена нами в наследство; тогда мы станем также способны вести историческое дело вперед, но это еще далекое будущее, а пока долго еще вся наша забота должна состоять в том, чтобы догнать других.

Но когда мы догоним их, что тогда? О, тогда мы уже быстро опередим их! Вот это трудноато понять. Идет авангард и прокладывает дорогу; тяжело ему подвигаться вперед, он делает всего по две, по три версты в день; остальные части войска идут по проложенной дороге, путь их легок, они делают в день по 30, пожалуй, по 40 верст; но как же это пойдут они таким же быстрым шагом, когда догонят авангард, когда перед ними будет тоже лежать новая местность, по которой надобно еще прокладывать дорогу? Нам кажется, что им просто придется тогда работать рядом с авангардом над проложением дороги. Конечно, число работающих рук увеличится, дело пойдет быстрее, будут пролагать нового пути не по три, а, быть может, по пяти верст в день, но будут пролагать все вместе, все

рядом. Что за пошлое тщеславие воображать себя какими-то избранниками судьбы, какими-то привилегированными, чуть не крылатыми существами, когда рассудок и честное мнение о себе велют думать, что хорошо нам будет, если мы будем со временем не хуже тех, которые теперь лучше нас, а к тому времени будут еще лучше. Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохвально кричать: эх вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!

Но, говорят нам, авангард уже растратил или ввел в дело все свои силы; на Западе уже не остается элементов, не участвовавших в истории, таких элементов, которые могли бы придать ей новый вид. Это также совершенное заблуждение. Была на Западе история аристократического сословия; только недавно стало руководить историею среднее сословие и далеко еще не овладело ею всею, далеко еще не выказало всех своих сил, не переделало всего, что хочет и должно переделать. Да, есть вещь, которая действительно умирает на Западе; эта вещь — феодализм и олигархическое господство. Но силы среднего сословия все еще развиваются, и много, очень много улучшений в западной жизни произведет даже один этот элемент, уже много сделавший перемен¹⁶. Но высшее и среднее сословия составляют только небольшую часть в каждой нации, а масса нации ни в одной еще стране не принимала деятельного, самостоятельного участия в истории. Это новый элемент, безмерно различный от прежних; он еще только готовится войти в историю. Корабль Запада плывет еще, но только по истоку реки, с каждым новым днем все шире и глубже его плавание, все величественнее вид реки.

Запад, далеко опередивший нас, далеко еще не исчерпал своих сил, — в этом отношении он таков же, как мы: страна, едва возделанная в немногих местах, которым полагался благоприятный случай, еще имеющая безмерные долины, которых не касался плуг. Новая жизнь возникает в этих только начинающих оживляться пространствах.